



**ТОМАС**

**МАНН**

*ИЗБРАННИК*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Томас Манн  
**Избранник**

«Издательство АСТ»

«ФТМ»

1951

УДК 821.112.2-3  
ББК 84(4Гем)-44

**Манн Т.**

Избранник / Т. Манн — «Издательство АСТ», «ФТМ»,  
1951 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-139085-3

«Избранник» — одно из самых тонких, увлекательных и в то же время философских произведений Томаса Манна, стилизованное под средневековую повесть. Главным источником Томасу Манну послужила поэма немецкого поэта Гартмана фон Ауэ «Григорий Столпник», сюжета которой автор придерживается в романе. Кроме этой поэмы, в «Избраннике», по собственному свидетельству Манна, получили пародийное переосмысление куртуазный эпос «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, старинные песни, посвященные Деве Марии, и «Песнь о Нибелунгах». Итак, жил некогда герцог Фландрии и Артуа, и не было у них с герцогиней детей. Но однажды Бог (а может, и дьявол) смилостивился над супругами — герцогиня произвела на свет близнецов. Им было суждено тайно полюбить друг друга и дать жизнь плоду этого страшного греха — сыну по имени Грегориус, которому предстояло пережить немало странных приключений, сотворить много дел, как дурных, так и добрых, и прославиться под прозвищем «Святой грешник»... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-3

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-139085-3

© Манн Т., 1951

© Издательство АСТ, 1951

© ФТМ, 1951

## Содержание

Кто звонит?	6
Гримальд и Бадугенна	10
Дети	13
Скверные дети	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Томас Манн Избранник

## Кто звонит?

Звон, перезвон колоколов *supra urbem*<sup>1</sup>, надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня – не в лад, невпопад, они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не отгремело еще «*In te, Domine, speravi*»<sup>2</sup>, как уже раздается «*Beati quorum tecta sunt pressata*»<sup>3</sup>, а рядом слышатся хрустальные голоса малых звонниц, – будто служба потряхивает сладкозвучным своим колокольчиком.

Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквях семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со Святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма Пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен – тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозвания? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, – так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного Сретения.

Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услышав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике. «Колокола звонят» – это значит: кто-то звонит в них, даром что колокольни пусты. Так кто же звонит в колокола Рима? – *Дух повествования*. Да неужто же может он быть повсюду, *hic et ubique*, к примеру сказать, на башне Св. Георгия в Велабре и где-нибудь у Св. Сабины, сохранившей колонны мерзостного капища Дианы, сиречь в сотне освещенных мест сразу? – Еще как может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него различия между «здесь» и «там». Это ведь он говорит: «Все колокола звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духовный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем может идти только в третьем лице и сказать можно единственно: «Это он». И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое, и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: «Это я. Я – дух повествования, который, нашедши себе пристанище в библиотеке монастыря Санкт-Галлен в Алемании, где некогда сиживал Ноткер Косноязычный, повествует вам в забаву и в преизрядное поучение эту историю; за начало же я беру ее благостный конец и звоню в колокола Рима, то есть сообщаю, что в тот день счастливого Сретения все они зазвонили сами собой».

---

<sup>1</sup> Над Римом (*лат.*).

<sup>2</sup> «На тебя, Господи, я уповал» (*лат.*) – католическая молитва.

<sup>3</sup> «Блаженны те, чьи грехи сокрыты» (*лат.*).

Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя «я», кто ты, сидящий за наложным столом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?» – «Я Клеменс Ирландский, *ordinis divi Benedicti*<sup>4</sup>, гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнуа, ирландской моей обители, дабы поддержать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердыней христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Корвей. Но здесь, где услаждают нас очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случалось слышать доселе, и где силы телесные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользой для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вокруг водоема, – здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, *arbor vitae*<sup>5</sup>, драконья голова с крестом в отверстой пасти, а также *Ecclesia*<sup>6</sup>, собирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда. Изделие это свидетельствует о раннем процветании художеств у нас в Ирландии.

Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову Св. Патрика, к его пастбищам, изгородам, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнуа, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока, и, как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью – правда, не столь пакостной, как немецкие, – один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «*Habeo tibi aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo*»<sup>7</sup>. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду – в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании – монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения Господня почитать более, чем храм Св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине. Но такие соображения – не более чем побочные примечания к истине, истина же заключается в том, что Господь и Спаситель наш, как сказано у

<sup>4</sup> Монах ордена Святого Бенедикта (*лат.*).

<sup>5</sup> Дерево жизни (*лат.*).

<sup>6</sup> Церковь (*греч.*).

<sup>7</sup> «Имею сообщить тебе некий секрет. Я весьма крепок телом и посему часто подвержен искушениям дьявольским» (*вульгарная, синтаксически германизированная латынь*).

Матфея (и кстати только у него одного), поначалу нарек Петра своим наместником на земле, а тот передал викариат епископу Римскому и поставил его главой надо всеми епархиями мира. Ведь в декретах и протоколах седой старины наличествует даже речь, которую произнес сам апостол при рукоположении первого своего преемника, папы Лина, и это представляется мне подлинным испытанием веры и вызовом духу: пусть-де явит свою силу и покажет, во что только он не способен уверовать.

В своей куда более скромной роли – служить инкарнацией духа повествования – я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять *sella gestatoria*<sup>8</sup>, мужем, удостоенным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что я прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое – Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и – вместе с монашескими ризами – облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св. Павел в послании «Ad Ephesios»<sup>9</sup> столь удачно назвал «облачением в нового человека». Нет, это уже не брненное тело, шнырявшее по земле в камзоле одного Моргольда! Цингулом препоясано тело духовное – плотское, стало быть, не настолько, чтобы признать вполне правоммерным прежнее мое утверждение, будто нечто, а именно дух повести, во мне «воплотилось». Я вовсе не так уж и люблю этот глагол «воплощать», ибо произведен он от «плоти», от брненного тела, которое я снял с себя вместе с именем Моргольд, от тела, которое сполна является вотчиной сатаны и по воле его способно творить такие мерзкие пакости, что даже трудно уразуметь, почему оно к ним тяготеет. Правда, с другой стороны, тело есть то вместилище души и божественного разума, без коего таковые лишились бы всякого крова, а посему оно должно быть признано необходимым злом. На такое признание тело еще смеет притязать, более же восторженного оно в неупотребстве своем поистине не заслуживает. Да и станет ли человек, взявшийся рассказать или обновить (ибо ее уже рассказывали неоднократно, хотя и не так, как должно) историю, которая изобилует плотскими мерзостями и ужаснейшими доказательствами готовности плоти ничтоже сумняся предаваться греху, – станет ли он бахвалиться тем, что сам является неким воплощением?

Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, – а меж тем это стоило заметить, – что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь Св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сию, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля – Гоцберт – таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» – я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую примету которой сейчас поведаю.

Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоконазидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь

<sup>8</sup> Здесь – папский престол (*лат.*).

<sup>9</sup> «К ефесеянам» (*лат.*).



и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое – язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования – это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь Бог есть Дух, и слово превыше всех языков и наречий.

Одно несомненно: пишу я прозу, а не стихи, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом, который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах – строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:

Жил князь, *nomme*<sup>10</sup> Гримальд, и жил.  
Но вот удар его хватил.  
Достались детям дом и власть.  
*Aht*<sup>11</sup>, грешили дети всласть!

или в подобном роде – неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведу рассказ о великой милости Божьей, причем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев – смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.

Ну, а теперь от присказки к сказу.

---

<sup>10</sup> По имени (*фр.*).

<sup>11</sup> Увы, ах (*старофр.*).

## Гримальд и Бадугенна

Жил некогда герцог Фландрии и Артуа, Гримальд по имени. Его меч назывался Эке-сакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем Господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на его *maisnie*<sup>12</sup> и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите – двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своей, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держа за руки и скрещая ноги.

Его родовым замком, где большей частью и находился двор герцога Гримальда, был Шастель Бельрапейр, на высотах питавшей овец Артуа, словно выточенный на токарном станке, если взглянуть издали на его крыши и балконы, на предмостные укрепления, стены и башни замка, надежного убежища, каковое и должен иметь князь на случай нашествия лютых врагов извне, а равно и на случай злых смут среди собственных подданных; убежище это было к тому же удобно для жилья и приятно для глаза. Сердцевиною замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоем, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристройках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сиживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этниза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь. Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.

Но все это только примера ради. Вообще же тут задавали друг другу хитроумные загадки и вели непринужденные беседы, полные смысла и *corteisie*<sup>13</sup>, так что воздух не раз оглашался веселым смехом кавалеров и дам.

Я, со своей стороны, тоже готов рассмеяться, если кто подумает, что по вечерам верхний зал освещали дымящие факелы из соломы или лучины. Как бы не так! С потолка свисали паникадила, густо усеянные мерцающими свечами, а по стенам сияли десятисвечные подвесные шандалы. Было здесь два мраморных очага, где сгорали сандал и алоэ, а каменный пол покрывали широкие ковры, которые в особых случаях, когда, скажем, князь Канволейский или король Анжуйский – *bien soi venu, beau Sire!*<sup>14</sup> – гостили у герцога, усыпались еще хворостом, листьями ситника и цветами. За трапезой господин Гримальд и госпожа Бадугенна сидели в

<sup>12</sup> Домочадцы, дружинники-рыцари (*старофр.*).

<sup>13</sup> Придворная галантность, куртуазность (*старофр.*).

<sup>14</sup> Добро пожаловать, сир! (*старофр.*)

креслах с подушками арабского ахмарди, а напротив сидел их капеллан. Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомытники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная в рощице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с разрумянившимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и тутовой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком – кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.

Не стану больше расхваливать чудесную жизнь в Бельрапейре, хотя было бы грешно умолчать, что лари здесь ломились от холстов и штофов, от редкостного бархата и шелков, от кунных и душистых собольих шкур; что полки и поставцы сверкали прекрасной ассагаукской посудой: чашами, выточенными из драгоценных камней, и золотыми бокалами; что выдвижные ящики едва вмещали запасы благовоний, которыми окуривали покои, усыпали ковры и опрыскивали ложа, – трав и корений, амбры, териаки, гвоздики, мускуса и кардамона; что в тайниках в великом обилие хранилось золото – кавказское, вырванное прямо из когтей у грифов, ожерелья, браслеты, а сверх того еще отдельно всякие чудодейственные камни: карбункулы, ониксы, халцедоны, кораллы и как они там называются: агаты, сардониксы, жемчуга, малахиты и алмазы, что склады и кладовые были битком набиты благородным оружием, кольчугами, нагрудниками и щитами из Толедо, что в испанской стороне, доспехами для воинов и коней, ковертюрами, сбруей, седлами и уздечками с бубенцами, и что стойла, загоны, закуты и клетки были переполнены лошадьми и собаками, учеными соколами, ястребами-перепелятниками и говорящими птицами.

Однако довольно расхваливать! И то ведь не шутка надлежало разместить столько похвал и сдержать их уздой грамматики. По-княжески, как видите, проводили свои дни господин Гримальд и госпожа Бадугенна, вызывая восхищение всего христианского мира, щедро благословенные всеми земными благами. Так значится в анналах, а далее значится: «Для счастья их недоставало лишь одного». Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама же по себе она всегда нова и молода, если даже рассказчику ничего не остается, как наделять ее старыми словесами. Лишь одного, вынужден я повторить, недоставало для полного их счастья – детей, и сколь часто случалось видеть, как супруги, рядышком, опускали колени на бархатные подушечки и, воздев руки горе, слезно просили о милости, им не отпущенной! Мало того, во всех церквах Фландрии и Артуа что ни воскресенье с амвонов молили об этом Всевышнего, но, казалось, Господь Бог не хотел внять сей мольбе, ибо обоим уже минуло сорок, а надежда на потомство, на прямого наследника все еще не сбылась, так что некогда держава, наверно, распалась бы в споре зрящихся на власть притязателей.

Помогло ли здесь то, что в дело вмешался сам архиепископ Кельнский, Утрехтский, Маастрихтский и Льежский, не раз назначавший с этой целью торжественное богослужение и крестный ход? Допускаю сие, ибо после долгого промедления опала Всемогущего была наконец снята и государыня стала ждать радостей материнства, – радостей, но, увы, обреченных истощиться мукой родин, тяжесть коих все еще свидетельствовала, что Премудрый неохотно исполняет ее желание. Увы! Бадугенне не суждено было узреть двойню, которую она, непривычно стеноя, произвела на свет. Свет ее очей погас, и герцог Гримальд вместе с радостями отцовства познал и горечь вдовства.

Как странно смешивает Провидение радость и горе смертных в едином кубке! Архиепископ, мучительно потрясенный двойственным успехом своего предстательства пред Всемогущим, препоручил епископу Камбрейскому отслужить панихиду в Ипре, в кафедральном соборе. И когда камень прикрыл могилу, прохладное родильное ложе госпожи Бадугенны, гер-

цог Гримальд возвратился в Бельрапейр, чтобы порадоваться тому, что было ему дано, после того как он, с соблюдением всех обрядов, оплакал то, что было у него отнято. Младенцы, сладчайшие отпрыски смерти, мальчик и девочка, его плоть и кровь, наследники его дома, стали ему утешением в горе, стали утешением всему замку, отчего их совокупно и называли «жойделакурт», то есть «радость двора», ибо мир и впрямь не видел еще младенцев прелестнее, и никакой художник из Кельна или Маастрихта не смог бы написать красками ничего красивее: безукоризненно сложенные, исполненные очарования, с волосиками мягкими, как цыплячий пушок, и глазками, пока еще лучащимися светом небесным; лишь изредка хнычущие, всегда готовые улыбнуться ангельской улыбкой, от которой таяло сердце не только у придворных, но и у самих младенцев: когда их пеленали, они тянулись друг к другу ручонками и лопотали: «Да, да! Ты, ты!»

Разумеется, «жойделакурт» называли их лишь купно и ради милой шутки. В святом крещении – а окрестил их капеллан замка – они получили имена Вилигис и Сибилла; и если принц Вилло, который, лопоча: «Да, да!» – шлепал ручонками гораздо сильнее, чем Сибилла, был наследником и главным лицом государства, то на нее, как на весь ее пол, падал отсвет и отблеск славы Царицы Небесной, и герцог Гримальд глядел на свою дочку куда более нежными глазами, чем на столь нужного герцогству и не менее прекрасного сына. Тому быть рыцарем, таким же, как он сам, храбрым и дюжим, ну да, любезным женскому взору, когда после тйоста омоет тело от ржавчины своих пропотевших доспехов, пожалуй, и до кларета охочим – ну да, это все знакомо! Сладостная же, осиянная свыше чужедальность хрупкой женственности, она совсем по-другому задевает огрубевшие сердца, и отцовское тоже, а потому господин Гримальд называл сыночка только «бебешкой» и «бездельничком», девчоночку же «*ma charmante*» и целовал ее, тогда как мальчика только трепал по щеке и давал подержать ему палец.

## Дети

До чего же заботливо пестовали высокородную двойню сведущие женщины в чепцах, прикрывавших им лоб и подбородок: они кормили их из рожка подслащенной водой и кашцей, купали в растворе отрубей и промывали вином пустые десны, чтобы там поскорей и полегче прорезались и украсили их улыбку молочные зубы. Зубки прорезались легко и без долгого плача и были как жемчужины, и притом весьма остры. Но так как близнецы вышли уже из грудного возраста и перестали быть слабенькими новичками в сем дольном мире, сладостный свет, принесенный ими свыше, исчез, словно померкнув за тучами, так что они потускнели и начали принимать земной облик, самый, замечу, однако, изящный. Цыплячий пух на их головках превратился в гладкие каштановые волосы; это чудо как шло к нездешней смугловатой бледности их точеных лиц и постепенно вытягивавшихся тел, бледности, явно унаследованной от дальних предков, а не от родителей, ибо госпожа Бадугенна была бела и румяна, а у господина Гримальда лицо и вовсе было красно, как киноварь. Глаза детей, первоначально сиявшие лазурью, все более и более темнели, приобретая редкий, почти таинственный, иссиня-черный цвет, уже не небесный, хотя трудно сказать, почему бы некоторым ангелочкам не иметь глаз такой ночной синевы. И еще у обоих была одинаковая привычка искоса глядеть в сторону, словно бы прислушиваясь и ожидая чего-то. Хорошего ли, дурного? Не знаю.

По седьмому году, когда меняются зубы, на них напала ветрянка, и от чесанья у каждого осталась отметина на лбу, небольшая оспинка, у обоих на одном и том же месте и одинакового очертания, а именно серпообразного. Щербинку скрывали их шелковистые каштановые волосы, но подчас господин Гримальд, потехи ради и притворно удивляясь, откидывал с их лобиков мягкие пряди, когда няньки в чепцах, ежедневно в определенный час, приводили детей к скамеечке, где он, с бокалом кларета одесную, обычно сживал. Улыбаясь и опустив головы, женщины отступали в глубину зала, чтобы не нарушить своим низким присутствием высочайшего семейного счастья. Или же они вовсе останавливались у двери, предоставляя малышам, Сибилле в ее парчовом платье (или как там называется ткань, искусно расцвеченная золотыми нитями) и Вилигису в его бархатном, отороченном бобровым мехом кафтане, — а волосы у обоих были до плеч, — одним идти к отцу, перед которым Вилигис научился уже, как того требовали правила и приличия, преклонять колени. «*Deu vus Sal*<sup>15</sup>, господине достолюбимый», — говорили они голосками, чуть хрипылыми от робости. Затем отец болтал с ними и шутил, называл их «*gent mignote de soris*»<sup>16</sup> и милашками, спрашивал, как они поживают, и наконец поручал их *Saint Esperit*<sup>17</sup>, причем Вилигиса хлопал по плечу, Сибиллу же целовал. Он говорил: «Пребывайте в добром здравии». А они говорили вместе хрипылыми голосками: «Да вознаградит вас Бог» — и, удаляясь, пятились, как предписывал этикет, лицом к отцу, после чего няньки подхватывали детей у двери и брали их с обеих сторон за руки, за свободные руки, которыми те не держались друг за друга.

А они постоянно держались за руки, и по восьмому году еще, и по десятому, и были, словно пара карликовых попугайчиков, день и ночь неразлучны, ибо издавна спали в одной опочивальне, наверху, в башне, оглашаемой криками сычей; там стояли их упругие кровати с лямками саламандрового меха, на которых лежали подушки, и с валиками гадючьей кожи. Подстилка под подушками была из пальмовых волокон. Няньку, что для надзора и ухода за детьми спала там же на простой койке, они часто спрашивали: «Не правда ли, мы еще малы?» — «Малы,

<sup>15</sup> Храни вас Господь (*старофр.*).

<sup>16</sup> Милашками (*старофр.*).

<sup>17</sup> Святому Духу (*старофр.*).

голубки мои благородные». – «И мы ведь еще долго будем маленькими, *n'est-ce voir?*<sup>18</sup>» – «Ну конечно, *seurement*, мои милые, еще долго-долго!» – «А мы хотим всегда быть маленькими на этом свете, – говорили они. – Так мы решили, лаская друг друга. Мы станем легкими ангелочками на небеси. Тяжело, наверно, обратиться в ангелочка, когда умрешь, если у тебя и брюхо, и борода, и грудь». – «Ах, глупышки, *que Deus dispose*<sup>19</sup>. А Он не желает, чтобы люди всегда оставались детьми, как бы вы там ни решили между собой. *Deus ne volt*<sup>20</sup>». – «А если мы укротим свою плоть и проведем три ночи в молитве и бдении, чтобы Бог оставил нас маленькими?» – «Ну и простота! Клянусь честью, вы уснете и во сне преотлично утешитесь».

Так оно и случилось. Не знаю, думали ли они всерьез об укрощении плоти, мне хотелось бы верить, что речь няньки обескуражила их. Но так или иначе, понеже над замком и над страной проносились годы, в зеленом венце и в поблекшем, в убранстве из мглистого льда и снова в весеннем уборе, то дети достигли и девяти, и десяти, и одиннадцати; две почки, которые желали, или, вернее, не желая того, должны были стать цветками, уже не малые, а юные-преюные создания, с писано красивыми бледными лицами, с шелковыми бровями, быстроглазые, с тонкими, чуткими ноздрями над пухловатой верхней губой изящного и строгого рта, сложения в будущем нежного, но еще не принявшего окончательных пропорций, вроде молодых псов, у которых слишком тяжелые лапы, так что, когда Вилигис утром, балуясь после сна, нагой, как языческий бог, с отметинкой под растрепанными локонами, прыгал вокруг стоявшего возле его постели умывального чана, где плавали лепестки роз, то, чем он разнился от своей сестры, его мужской член, казался непомерно большим и вытянутым в сравнении с его узким, бледно-смуглым телом. Меня это зрелище некоторым образом огорчает. Вверху такая ребячески миниатюрная, смышленная головка, а внизу – на тебе, этакая громадина! Мамки только благоговейно прищелкивали языком и говорили: «*L'espoirs des dames!*»<sup>21</sup> Что же до юной принцессы, то она, полураспустившийся бутон, сидела на краешке кровати с таким же открытым (ибо на ночь ей зачесывали волосы вверх) знаком на лбу и, пожалуй, даже мрачно косилась на брата и на его почитательниц. Я знаю, что она думала. Она думала: «Я вам покажу – *l'espoirs!* Это мой дружок. Даме, которая от него понесет, я выцарапаю глаза, и никто меня не накажет, меня, герцогскую дочку!»

К ней была приставлена родовитая вдова, графиня де Клев, с которой она певала псалтырь в амбразуре окна и которая учила ее ткать материю из драгоценной пряжи. За принцем же присматривал гюрвенал, по имени господин Эйзенгрейн, *cons du chatel*<sup>22</sup>, точнее же сказать: даже не замка, а крепости на воде с широкими и глубокими рвами и дозорной башней, откуда далеко было видно море, ибо крепость находилась внизу, на равнине, где Рулер и Тору, от моря рукой подать. (Будьте внимательны и заметьте себе эту крепость по соседству с рокочущим морем! Ей будет еще отведено особое место в нашей истории.) Господин Эйзенгрейн, знатнейший в этой стране и верный вассал, затем, собственно, и прибыл оттуда в Бельрапейр, оставив дома жену и дитя, чтобы стать ментором и *maistre de cortisie*<sup>23</sup> молодого сеньора. Для более же низких поручений к последнему был приставлен паж Патафрид. Ибо хотя герцог Гримальд, из-за небесного отсвета на ее челе, всегда предпочитал девочку сыну и, по мере того как бутон распускался, становился с ней все нежнее и галантнее, а с мальчиком, чем больше тот вырастал, все суровее, он всегда по-отечески пекся о достойном воспитании наследника и радел о том, чтобы сделать его *un om de gentillesce, afeitie, bien parlant et anseignie*<sup>24</sup>. И Вилигис учился у

<sup>18</sup> Не правда ли? (*старофр.*)

<sup>19</sup> На то Божья воля (*старофр.*).

<sup>20</sup> Бог не желает (*старофр.*).

<sup>21</sup> Надежда дам (*старофр.*).

<sup>22</sup> Хозяин замка (*старофр.*).

<sup>23</sup> Учитель рыцарского этикета (*старофр.*).

<sup>24</sup> Человеком благовоспитанным, учтивым, образованным, умеющим красиво говорить (*старофр.*).

обоих пестунов правилам рыцарства и утонченным манерам. Он учился у Патафрида, с охотой ли или без особой охоты, вскакивать на коня, не пользуясь стремянем, а с помощью господина Эйзенгрейна постигал, как, в зависимости от одежды, надлежит *legerement*<sup>25</sup> выставлять вперед одну ногу на верховой прогулке. Надев на себя суассонские латы, он сходил в тйосте со старшим пажом и обучался целиться копьем в четыре гвоздя на щите противника, причем Патафрид в угоду ему падал с коня и просил пощады. Он учился метать короткий габилот, а равно и брать на изготовку длинную пику. С гюрвеналом и сокольничими принц травил зверя в зеленой дубраве, учился спускать с руки натасканных на дичь соколов и так искусно дудеть в манок, чтобы всякой твари лесной чудился голос ее сородича.

Что смыслю я в рыцарстве и в ловитве! Я – чернец, по сути не сведущий во всех этих делах и немного пред ними робеющий. Я никогда не хаживал на вепря, не слышал, как гремит рог перед травлей оленя, не свеживал зверя и не был главарем над охотниками, которому жарят на угольях лакомые куски. Я только делаю вид, что могу складно рассказать о воспитании юного принца Вилигиса, и напускаю словесного туману. Рука моя никогда не размахивала габилотом, не держала пику наперевес; да и никогда не обманывал я никакого зверья манком, и слово «манок», употребленное здесь с этакой непринужденностью, я просто-напросто где-то подцепил. Но таков уж дух повествования, воплощаемый мною; он делает вид, будто отлично разбирается во всем, о чем ведет речь. Также и бугурд, веселая верховая игра, которую юный Вилигис, с кавалерами и пажами, затевал в рыхлоземной долине у подножия замка и участники которой скачут карьером, отряд на отряд, пытаясь потеснить друг друга (в то время как дамы, расточая насмешки или влюбленные похвалы, сидят вокруг поля боя на деревянных балкончиках), – также и эта забава по сути глубоко мне чужда и, пожалуй, даже противна. Но все-таки я непринужденно повествую о том, как мчался, взметая пыль, во главе своего отряда принц Вилло, прекраснейший пятнадцатилетний отрок, – на гнедом коне, без доспехов, в одной только бармице из легких стальных колец, обрамлявшей его бледное и тонкое мальчишеское лицо, в камзоле и бандаже красного александрийского шелка, – и о том, как ему вежливо поддавались, нарочно позволяя пробиться через цепь противников, понеже он герцогский сын, а дамы поздравляли с его победой Сибиллу, его прелестную сестру, которая смеялась от радости и учащенно дышала.

Мнимость этой победы несколько утешает меня в моих столь же мнимо непринужденных разглагольствованиях о материи, весьма мне далекой. Однако обманчивые победы тоже опьяняют, и, опьяненный, гордый тем, что с ним так вежливо обошлись, Вилигис возвращался в замок и шел к своей сестре, которая тоже отлично знала, что здесь восторжествовал должный респект, и, несмотря на это, или как раз поэтому, была так же опьянена и горда, как ее брат. Если вам угодно знать, во что нарядили принцессу в честь такого дня, то на ней было прекрасное, просторное и длинное, зеленое, как трава, платье ассагаукского бархата, собранное в пышные складки, а спереди в широких сборках виднелась подкладка из красного и нижняя юбка из белого шелка. Круглый вырез на смугло-бледной шее, как и рукава на запястьях, был усеян жемчугами и алмазами, смыкавшимися ниже, на груди, в широкое ожерелье. Не менее густо испещряли драгоценные камни и ее кушак, а девичий венец на непокрытых ее волосах тоже был усыпан рубинами и гранатами, красными и зелеными. Читая, как я расписываю герцогскую дочку, иная девчонка, наверно, позавидует и ее длинным ресницам, под сенью которых вспыхивали ее иссиня-черные глаза, позавидует, говорю это, по-иному потупив очи, и тому, что под бархатом и самоцветами уже колыхалась ее расцветающая грудь. Не могу не упомянуть и о необычайнейшей красоте ее рук, – едва ли меньше братних, они были, однако, удивительно хрупки в кости, и на некоторых пальцах, сплошь заострявшихся к ногтю, сверкали кольца, одно на верхнем, другое на нижнем суставе. Стройная, она отличалась пленительной

<sup>25</sup> Слегка (фр.)

линией бедер, а пухловатая верхняя губа у нее, как и у Вилигиса, оттопыривалась к носику. И точь-в-точь как у брата, трепетали ее тонкие ноздри.

– Ах, государь мой и братец, – говорила она, помогая ему снять кольчужный шлем и приглаживая его темные волосы, – ты был великолепен, когда им пришлось пропустить тебя сквозь весь свой отряд! Как стояли в стременах твои ноги во время приступа, мне любо было глядеть. Ни у кого здесь нет таких юно-красивых ног, как твои. Только мои, на свой особый, женский лад, столь же прекрасны. Больше всего меня волнуют твои колени, когда ты жамблируешь и берешь коня в шенкеля.

– Ты, Сибилла, – отвечал он ей, – великолепна сама по себе и без бугурда! При моей мужской стати нужно шевелиться и действовать, чтобы быть великолепно. При твоей, женской, достаточно жить и цвести, ты и так великолепна. Таково самое общее различие полов, не вникая в подробности.

– Мы завидуем, – сказала она, – вашим отличиям, восхищаемся ими и объята стыдливостью, потому что в бедрах мы шире, нежели в плечах, а стало быть, живот у нас слишком велик, да и *derriere*<sup>26</sup> слишком объемист. Но я вправе сказать, что ноги мои все-таки высоки и стройны, тут уж не приходится желать лучшего.

– Да, – отвечал он, – ты вправе это сказать и не вправе забывать, что мы, в свою очередь, если не с завистью, то с приятным любованием взираем на ваши отличия. Впрочем, пожалуй, даже и с завистью, ибо где уж наш цвет? У нас нет ничего ни вот здесь, ни вон там, разве только немного силы, чтобы выкарабкаться из своей невыгоды.

– Не говори, что у тебя ничего нет! Но давай присядем под сводом окна и немного поболтаем о сегодняшнем бугурде: как смешон был граф Киневульф из Нидерлангау, прозванный за малый рост «коротышкой», на своей огромной вороной кобыле и как жеребец господина Кламида, *fils du comte*<sup>27</sup> Ультерлека, оступившись, подмял под себя всадника, отчего госпожа Гаршилуа из Бофонтана чуть не лишилась рассудка.

Они последовали ее совету и уселись на скамье под стрельчатым сводом, обнявши друг друга за плечи одетыми в шелк и бархат руками, и время от времени прижимались друг к другу своими красивыми головками. В ногах у близнецов, опустив голову на лапы, улеглась их англоландская собака по имени Ханегиф, славный пес с превосходным чутьем, белый, с черниной вокруг одного глаза, захватывавшей ухо. Он тоже делил с ними опочивальню и спал там всегда между их постелями на набитом конским волосом *materas*<sup>28</sup>. Из окна видны были крыши и башенки замка, а ниже – дорога в долине, окаймленная лугами и желтоцветным кустарником, по которой тихо тянулось стадо толсторуных овец. Сибилла вопрошала:

– Ты, наверно, поглядывал на Алису де Пуату, важничавшую в своем шутовском платье, наполовину из златотканого шелка, наполовину из ниневийского атласа, и в юбке из пестрых лоскутьев? Многие находили ее весьма миловидной.

– Я не глядел на ее напыщенную красоту. Я гляжу только на тебя, женская моя ипостась на земле. Другие – чужая кровь, не однородная, как ты, родившаяся со мной в один день. Я знаю, де Пуату расфуфыривается только для мужчин, подобных великану Хугебольду, и для таких развалин, как господин Рассалиг Лотарингский, для тех, кто выше и вдвое жирнее меня, чуть более толстого, чем прут. Но с тех пор как губы мои опушились темными волосками, у многих дам, когда они глядят на меня, влажнеют глаза. А я, напротив, холоден к ним, *que plus n'i quiers veoir*<sup>29</sup>, чем тебя.

Она говорила:

---

<sup>26</sup> Зад (фр.).

<sup>27</sup> Сын графа (фр.).

<sup>28</sup> Подстилка (старофр.).

<sup>29</sup> Никого сильнее не хочу видеть (старофр.).



– Эскавалонский король прислал письмо нашему господину Гримальду и просит у него моей руки, поелику я созрела для брака, а он еще не женат. Я узнала это от моей *maistresse*<sup>30</sup>, от этой де Клев. Нет, ты не вставай на дыбы! Герцог мягко ему отказал, объяснив, что я хоть и созрела для брака, но еще слишком молода и не доросла до звания королевы даже такого неказистого королевства, как Аскалон, и посоветовал обратить внимание на других княжеских дочерей христианского мира. Впрочем, не ради тебя и не затем, чтобы мы еще пожили вместе, отверг наш отец и государь предложение этого короля. «Я, – написал он, – хочу еще некую толику времени сидеть за трапезой с обоими моими детьми, с дочерью по правую и с сыном по левую руку, а не с одним только мальчишкой да еще с попом насупротив». Вот какую причину имел его *refus*<sup>31</sup>.

– Не важно, – говорил он, играя ее рукой и рассматривая кольца на ее пальцах, – какая на то причина, лишь бы нас не разлучили в нашей сладостной юности до времени, о коем я знать не желаю, когда оно наступит. Ибо нас обоих никто не достоин, ни тебя, ни меня, и только мы с тобою достойны друг друга, потому что мы совершенно особые дети, рождения столь высокого, что весь мир должен быть с нами *devotement*<sup>32</sup> кроток. И оба мы отпрыски смерти, и у каждого щербинка на лбу. Это, правда, лишь следы от ветряной оспы, каковая ничуть не лучше, чем почечуй, грыжа и свинка, но дело не в происхождении отметин, они *tout de meme*<sup>33</sup> знаменательны своею сугубой бледностью. Когда Бог продлит век дорогого и любимого господина нашего и отца до предельного срока человеческой жизни, что да будет ему благоугодно, я стану герцогом над Артуа и Фландрией, благословенной землей, ибо по тучным нивам здесь волнами ходят колосья злаков, в то время как по холмам десятки тысяч и более щиплющих траву овец вынашивают руно для отменных сукон, а пониже, к морю, настолько обильно растет на полях лен, что крестьяне, как я слышал, пляшут в трактирах с мужичьей радости, и к тому же вся страна усеяна богатыми городами, что твоя рука кольцами: веселый Ипр, Гент, Лувен и битком набитые товарами Анвер и Брюж *la vive*<sup>34</sup> у глубокого залива, где из Южного, Северного и Восточного морей непрестанно прибывают и вновь отбывают ломящиеся от сокровищ суда. Горожане разгуливают там в бархате и мехах, но они не учились ни вскакивать на коня без помощи рук, ни целиться пикой в четыре гвоздя на щите, ни сходиться в бугурде, и посему они нуждаются в герцоге, который бы их защищал, а этим герцогом буду я. Но тебя, лучшую из дев, единственную мне под стать, я хочу, когда они будут бросать в воздух шапки, провести рядом с собой через их толпу как сестру-герцогиню.

И он поцеловал ее.

– Мне приятнее, – сказала она, – когда меня целуешь ты, чем когда наш дорогой и достолюбезный государь царапает мне шею и щеку своей ржаво-красной щетиной. Хотя нам следовало бы от души радоваться, если он придет нас проведать, что может случиться с минуты на минуту.

И в самом деле, когда они так сидели и нежно болтали о всевозможных вещах, к ним часто заходил герцог Гримальд, не затем чтобы к ним присоединиться, но чтобы резкими речами прогнать принца и понежничать с принцессой.

– *Fils du duc Grimald*<sup>35</sup>, – говаривал он, – я, никак, застаю тебя, хлыща этакого, у сего прекрасного дитяти, твоей сестры? Что ты заботишься о ней, похвально, и я тебя одобряю за то, что ты ретиво о ней печешься, помогаешь ей и развлекаешь ее, насколько хватает твоего

<sup>30</sup> Наставница (*старофр.*).

<sup>31</sup> Отказ (*старофр.*).

<sup>32</sup> Преданно (*старофр.*).

<sup>33</sup> Тем не менее, все равно (*фр.*).

<sup>34</sup> Живая (*фр.*).

<sup>35</sup> Сын герцога Гримальда (*фр.*).

щенячьего разума. Но, клянусь, пока я жив, я – первый ее защитник, и у меня еще достанет сил постоять за нее, и если ты обольщаешься, думая, что такое прелестное дитя более привязано к брату, нежели к своему полному мощи и здоровья отцу, то на-кась выкуси. Allez avant, вон отсюда! Пойди постреляй по мишени со своим наставником Патафридом! Герцог желает поболтать со своей дочуркой.

А затем старый рыцарь присаживался к ней в нише и оказывал ей отменную *cortéisie*, что я, монах, могу представить себе лишь с превеликим трудом.

– *Beau corps*<sup>36</sup> у тебя, – говорил он, – и то, что франконцы зовут *florie*, блеск цветенья, – он лежит на тебе, ты с недавней поры чудеснейше им воссияла. Увы, время благоволит к юности, оно дает ей цвести пышнее день ото дня, зато нас, стариков, уродует все больше и больше: и оголяет чело, и посыпает усы сединой. Да, да, дряхлость должна стыдиться младости, ибо она отвратительна! Между тем, *pourtant*, почтенность возмещает красоту, и ты, любимейшая, не вправе забывать, что Гримальд твой отец, которому одному причитается твоя умильная и великая благодарность за то, что он дал тебе жизнь, и который столь рано лишился своей любезной супруги. Что же касается тебя, то нам нужно позаботиться, чтобы ты скоро стала невестой, ибо множество сладостных знаков говорит о твоей зрелости. Я помышляю только о твоём счастье. Но, конечно, я не помирюсь с первым встречным, и мало того, что он должен нравиться тебе, нужно, чтобы и я согласился отдать тебя за него, хотя, по правде говоря, мне, старому рыцарю, никому не хочется тебя отдавать.

Примерно так говорил господин Гримальд, сидя с ней в нише, я воспроизвожу его речь настолько, насколько ее может представить себе монах. На следующий год, когда детям минуло шестнадцать, для отрока Вилигиса наступил праздник посвящения в рыцари – много ли я смыслю в таких вещах? – но на языке света это значит, что молодой дворянин получает право препоясаться рыцарским мечом. Герцог Гримальд сам посвятил сына в рыцари под крики «виват» и рев боевых рожков, после торжественной обедни у Св. Вааста в Аррасском замке, в присутствии многих вассалов и кровных, а затем, между двух своих детей, ведя сына правой, а девушку – левой рукой, на глазах ликующей *quétuine*<sup>37</sup> знатнейших, спустился с почетного помоста, и новопринятому шевальеру, привыкшему носить только короткий охотничий нож на бедре, приходилось, конечно, следить, чтобы преогромный меч, висевший у него на поясе спереди, не путался меж ногами. А обоим детям думалось, что было бы гораздо лучше, если бы они только вдвоем, рука об руку, ступали по этим мосткам, а отца не было бы между ними.

И поелику Вилигис прошел уже через обряд посвящения в рыцари, то одновременно и на Сибиллу все стали глядеть как на совершеннолетнюю девицу на выданье, и множились притязания на ее руку со стороны гордых князей христианского мира, у которых хватало духу обратиться с таким предложением. Одни писали послания, другие направляли в Бельрапейр благородных сватов, третьи приезжали свататься самолично: старый король Анжуйский привез своего сына Шафильора, придурковатого малого. Граф Шиольарс Ипотентский, гасконский герцог Обилот, Плигоплигери, принц Уэльский, а также государи из Эно и Гасбания, – все они прибывали и красовались собольими оторочками и горностаями, изысканной свитой и учтивыми, кудрявыми речами, каковые они отчасти читали по писаному. Но господин Гримальд отказывал всем, ибо никому не желал отдать Сибиллу, и даже плохо скрывал свою гневную ненависть к соискателям, решительным «нет» возвращая их всех, сколь ни были они деликатны, домой, восвояси.

Юному же Вилигису привиделся о ту пору страшный сон, от которого он пробудился в поту. Ему приснилось, будто отец кружит над ним в воздухе с задранными назад ногами, с медно-багровым от ярости лицом и, встопорщив усы, безмолвно грозит ему обоими кулаками,

<sup>36</sup> Прекрасное тело (*фр.*).

<sup>37</sup> Община, дружина (*старофр.*).

словно вот-вот вцепится сыну в горло. То было несравненно страшнее, чем получается на словах, и от одной лишь боязни, что сон повторится, ему и вправду приснилось в следующую ночь в точности то же самое, разве только еще страшнее.

## Скверные дети

На семнадцать лет, не больше и не меньше, пережил господин Гримальд свою жену Бадугенну, а затем переселился к ней под могильную плиту в Ипрском соборе, но и на могильной плите, высеченные из камня, возлежали они благочестивыми супругами, скрестив на груди свои руки пред Господом Богом. После кончины жены своей сей государь все непомернее пил кларет и вот однажды действительно побагровел лицом, как привиделось Вилигису, но затем застыл: удар хватил его в висок, и он умер, – поначалу только с правой стороны, так что не мог уже шевельнуть ни одним правым членом и наполовину лишился речи. Только левым углом рта ему еще удавалось кое-как изъясняться. Но и врач из Лувена, и грек Клиас, которого он велел призвать к себе, – оба от него не утаили, что удар вполне может хватить его еще раз, и тогда он неизбежно умрет и слева.

Сказали же это они затем, чтобы он загодя распорядился державой, и, наставленный их откровенным словом, он тотчас же созвал цвет государства, кровных родичей, вассалов своих и дружинников, дабы вверить их попечению свою душу и своих детей и привести их к присяге на верность наследникам, коль скоро уж смерти с ним по пути. И вот, когда они все, родичи и ленники купно с детьми, собрались у его одра, на коем он покоился куда как обезображенный, ибо одно его око было закрыто, а щека обмякла в параличе, он молвил им елико мог внятно:

– *Seignurs barons*<sup>38</sup>, воспримите мою речь так, словно бы я произнес ее неущербными губами, ибо, к сожалению, я способен лишь прошамкать ее уголком рта. Не взыщите. Смерть схватила меня и уже трубит надо мной в *cornure de prise*<sup>39</sup>, дабы освежать в могиле благородного оленя. Тяжким ударом она сковала меня наполовину, но того и гляди свалит меня вконец; об этом без обиняков оповестили меня мои лекари, чем и явили свое врачебное искусство. Стало быть, мне суждено удалиться из этого садка червей, из этого гнусного волчатника, в которое ввергло нас преступление Адамово и который я тем более готов хулить, поелику должен покинуть его, надеясь ради мученических ран Господних войти *in portas* паридиза, во врата рая, где обо мне денно и ночью станут пещись ангелы, тогда как вам придется еще чуточку помешкать в этом садке червей. Посему незачем обо мне убиваться! Лучше, *seignurs barons*, припомнить тот час, когда вы клялись быть моими вассалами и влагали свои простертые длани в мои. В том же поклянитесь и моему сыну, когда я совсем умру, и вложите в его длани свои, хотя, может быть, и смешно, чтобы *он* вас защищал, ибо скорее уж этот молокосос нуждается в *вашей* защите. Оказывайте ему таковую, сродники и сеньоры, не за страх, а за совесть, и блюдите верность моему дому, дабы он и впредь пребывал в мире и благоденствии!

Когда он наставил так своих подданных, он обратился к Вилигису и молвил:

– У тебя, сыне, меньше, чем у кого бы то ни было, причин убиваться, ибо корону, скипетр и земли, доставшиеся мне по наследству, я ныне оставляю в наследство тебе, хотя и крайне неохотно, и ты вдосталь вкусишь почестей в этом волчатнике, который я покидаю. За тебя я спокоен, но тем беспокойнее мне за сие прекрасное дитя, сестру твою. Слишком поздно убеждаюсь я в том, что не позаботился об ее будущем, и осыпаю себя за это упреками. *Vere, vere*<sup>40</sup>, так не подобало вести себя отцу! И пред тобой, знаю, я тоже до некоторой степени провинился, вызвав своей привередливостью при выборе супруга для этого чудесного ребенка великое недовольство нашим домом у многих князей. Не могу искупить промаха своего иначе, чем наилучшим отцовским напутствием, которое, пред лицом баронов моих, даю тебе напоследок, пока еще могу говорить, хотя бы только левою половиною рта.

<sup>38</sup> Сеньоры бароны (*старофр.*).

<sup>39</sup> Рог, в который охотники трубят, захватив добычу (*старофр.*).

<sup>40</sup> Поистине, поистине (*лат.*).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.